

Департамент образования г. Москвы
Московский институт открытого образования
Кафедра филологического образования

Московская олимпиада по истории и теории литературы

2009 год

10 класс

I тур

Задание 1.

Прочитайте стихотворение и подробно ответьте на следующие вопросы.

1. Какие традиционные мотивы русской поэзии звучат в этом тексте?
2. Что нового вносит в них стихотворение А.А. Тарковского?
3. Какими средствами передано состояние лирического героя?

А. Тарковский

Жили-были

Вся Россия голодала,
Чуть жила на холоду,
Граммфоны, одеяла,
Стулья, шапки, что попало
На пшено и соль меняла
В девятнадцатом году.

Брата старшего убили,
И отец уже ослеп,
Всё имущество спустили,
Жили как в пустой могиле,
Жили-были, воду пили
И пекли крапивный хлеб.

Мать согнулась, постарела,
Поседела в сорок лет
И на худенькое тело
Рвань по-нищенски надела;
Ляжет спать — я то и дело:
Дышит мама или нет?

Гости что-то стали редки
В девятнадцатом году.
Сердобольные соседки
Тоже, будто птицы в клетке
На своей засохшей ветке,
Жили у себя в аду.

Но картошки гниловатой
Нам соседка принесла
И сказала: — Как богато
Жили нищие когда-то.

Бог Россию виноватой
Счёл за Гришкины дела.

Вечер был. Сказала: — Ешьте! —
Подала лепёшки мать.
Муза в розовой одежде,
Не являвшаяся прежде,
Вдруг предстала мне в надежде
Не давать ночами спать.

Первое стихотворенье
Сочинял я как в бреду:
«Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!»
Так познал я вдохновенье
В девятнадцатом году».

1975

Задание 2.

Прочитайте рассказ и **развернуто** ответьте на следующие вопросы.

1. Поясните, какими средствами созданы жизненный и сценические образы артиста?
2. Кто послужил прототипом артиста и почему писатель не называет его имени?
3. Как пережитое в театре состояние раскрывает внутреннее «я» рассказчика?
4. В чем вы видите особенности композиции рассказа?
6. Объясните смысл названия рассказа.
7. В каких произведениях русской литературы создан образ художника, творца и что сближает с ними рассказ А. Куприна?

А.И. Куприн
Гоголь-моголь
(1915)

— Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает — этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно.

Исподтишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого складного русского парня. Белоресниций. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький, сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным, изжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снедаемый сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием: «Имена же их ты, господи, веси».

«Каким чудом, — думал я, — может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения. И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически, он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет ramпы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей — то обожаемое и презируемое, милостивое и щедрое тысячеглавое животное, которому имя — публика.

И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига? Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!» Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему двадцать пять лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины, все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.

— Попал я тогда в один приволжский городишко. В хор. Понятно, в хоре не разойдешься. Да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивает узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано? А петь мне хотелось ужас как! До боли! Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику и все думаю: нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот этак... Но много романсов и арий я все-таки разучивал... так... для себя... для собственного удовольствия.

Потихоньку разучивал от товарищей-хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать. Нелегкая их жизнь. Бедность... неудачливая карьера... а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль — почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей.

А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко.

И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта? Ведь, наверно, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?»

Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню, тогда екало, как никогда в жизни.

«Да вот чего же лучше? — говорит он мне. — Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет? Это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти... Но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?»

— «Оробею,— говорю.— Знаю себя: голос сядет... Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать... Боюсь, Сергей Васильевич, пустое мы затеваем... Я-то провалюсь, это ничего... Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет... Как вы думаете?» — «Ладно,— отвечает,— мой риск, мой ответ. С богом! В холодную реку лезть надо не понемногу, а так... бух каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом гоголь-моголь».

С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-моголь... хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная и из чего она делается?»

Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта.

Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и др. Но, понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами.

И вот пришел я к Цепетовичу и сказал: «Да, брат. Видишь, тебя на концерты небось не приглашают, а меня пригласили... в самое дворянское собрание»,— «Ну, так что ж? — ответил он спокойно и показал рукой на стол. — Это водка. Это котлеты. Это яблоки. Подкрепись, концертант... Дальше?» — «Во фраке я буду. И с нотами в руках». — «Ну?» — «Не нукай. Не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Так в хореи сгниешь... Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать». — «Ну, так что ж?» — «Вот и то-то ж». — «Гоголь-моголь? Это вещь серьезная и не дешевая». — «Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе...» И вдруг этот спокойный человек рассердился: «Я не понимаю? Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца. И все. И вообще, пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом» (у него была привычка выражаться в высоком стиле).

Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак... Гоголь-моголь... Яйца... Лимон... Сахар... Коньяк... Черт возьми, как бы не спутаться...

У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как будто забыл, сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек. Два лимона, фунт сахара. Пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил.

Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда, с непривычки, был хмелен, что греха таить? И сказал сам себе: что будет, то будет. Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени. Красная дорожка. Светло. Пахнет духами. Тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху: «Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно! Зачем?» И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной, фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я? Как я дождался своего выхода — не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот...

Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер. Очень строгий человек. А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу:

— Держите: «Во Францию два гренадера...»

Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час.

Ах, боже мой, как я тогда пел. Если бы еще раз в жизни так спеть! Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу.

Забыл я о публике. И вот подходит самый страшный момент:

Тут выйдет к тебе, император,
Навстречу твой верный солдат.

О, великий император, бессмертная легенда! Да, да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное, каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя.

У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек... Да, встала!

Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажны и холодные. Голова горит. В горле сухо. Как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу — Цепетович. «Ангел мой... дорогой... я никогда не смел думать, что ты... Что ты так талантлив... Прости меня... Какой у тебя путь впереди!»

Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно... Но он, только он толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.